

Александр Борщаговский

# СУДЬБА ТЯЖКАЯ И СЧАСТЛИВАЯ

Писатель Александр Борщаговский не нуждается в обстоятельном представлении: его исторические романы и книги о наших современниках достаточно известны читателям. Он — мастер психологической прозы, тонкого проникновения в мир человеческих чувств. Верность правде жизни, какой она ни была, гражданственность всегда были отличительной чертой его литературной работы. Об этом сегодняшний разговор нашего корреспондента Татьяны Глинки с Александром Борщаговским.

— Александр Михайлович, три года назад я прочитала ваш роман «Портрет по памяти» — об Александре Агине, первом иллюстраторе «Мертвых душ». Роман поразил меня. Прежде всего образом главного героя. Тогда, в 1985 году, мы еще не читали «Белых одежд» Дудинцева, «Нового назначения» Бека, романа Гроссмана «Жизнь и судьба» и многого другого, что сегодня захватило и потрясло читателя, резко потеснило все другое. И ваше открытие о прекрасном художнике, выдающейся личности, неведомой, истати, большинству, оказалось остро современным. Роман вызвал актуальнейшие мысли о назначении и месте художника в обществе, о его совести и мужестве. Ученик Брюллова, талантливейший выпускник Академии художеств, он мог бы весьма преуспеть, достичь прижизненной известности, богатства. Но он пренебрег всеми искушениями ради высокой цели. Ничто не отвратило Агину от нее, даже отказ Гоголя, не видевшего агинских иллюстраций, от оформления ими своей поэмы, даже горькая необходимость просить денежного пособия на издание рисунков и «Мертвым душам» отдельными выпусками. Агин так и ушел из жизни, не подзвывая о посмертной своей славе и признании...

— Далеко не сразу я осознал, что меня как литератора и исследователя привлекают исторические фигуры, так сказать, не первого плана, не Разин или Пугачев, не Кутузов или Нахимов, а герои Камчатки 1854—1855 годов, Завойко и Изыльметьев, линкольновский генерал Турчанинов, сражавшийся за республику в годы гражданской войны в США, не Александр Пушкин, а Александр Полежаев, не Карл Брюллов, а Александр Агин. Может быть, это безотчетная робость, а может, жажда первооткрытия, желание ввести в культурный обиход героев, перед которыми мы провинились, веками оставляя их в забвении. Но литература — человековедение, исследование характера и судьбы не слишком громкого человека — может оказаться важнее всего другого.

Мой Агин вынашивался очень долго, как раз в те десятилетия, когда в нашей литературе конъюнктура набрала такую силу, что любая серая книга могла быть «по распределению» отмеченной державной премией или наградой, когда само собой разумелось: роман о ставленике выше романа о ткачине, а тем более о каком-нибудь неярком служащем, не умеющем рассуждать об удельном весе стали в народном хозяйстве. Все это развращало литераторов и литературу, оборачивалось карьеристскими «гонками», деформацией тиражной политики, пожизненным всевластием литературных чиновников. И как важно было рассказать правду об Агине, согласном на крайнюю нужду, на скудную роль папы, на любое житейское ущемление, только бы не была ущемлена честь, только бы до конца выполнить свое высокое назначение художника, глашатая правды и истины. Агин дает нам урок не только высокой духовности, но и не менее высокого профессионализма, жесточайшей взыскательности. Это особенно важно в пору, когда издательства приноровились «двоячить», дотягивать, дописывать безнадёжные рукописи, а иные литературные «мэтры» сдавали журнальным редакциям полуфабрикаты, попросту сбрасывали груды страниц на руки литправщикам. И «старенький» Агин, полуголодный питерский житель середины XIX века, вставал живым укором перед шумной, удачливой ватагой литературных удальников. Увы, не думаю, чтобы они его заметили, а заметив случайно — усомнились...

— Александр Михайлович, неужели в годы, которые теперь названы застойными, были истреблены все живые литературные победы?

— К чести писателей Москвы, среди нас никогда не переводились люди, не изменявшие высоким гражданственным идеалам русской литературы. Большинство из тех, кого мы с увлечением и благодарностью читаем вот уже два года, писатели Москвы, живые и ушедшие, буквально выстрадавшие свои талантливые, честные книги. Время круто поменялось: повысился уровень журнальных публикаций. Странным было бы сейчас принести в толстый литературный журнал — и тонкий тоже! — некий полуфабрикат; предложить его можно разве тому журналу, где стерпят и полуфабрикат, защищенный, по былым представлениям, громким именем автора и его покровителя.

Платонов, Булгаков, Гроссман, Бек, Ямпольский и многие другие — все это писатели Москвы, и москвичи, читатели «Московской правды», вправе знать, что за их рукописи коллектив столичных писателей годами вел борьбу, добиваясь обнародования. Талантливые, серьезные писатели принимали участие в обсуждении этих рукописей, писали никем не заказанные рецензии, подписывали коллективные письма, добиваясь того, чтобы слово правды было услышано. Очень часто эти усилия разбивались о равнодушие и глухоту, но и тогда они оказывались важной моральной поддержкой для авторов. Открывавшая дорогу свежей мысли, яркому таланту, Александр Твардовский в свое время писал, что отныне отметка требовательности поднята выше, чем вчера. Что же сказать о дне сегодняшнем, когда мы прочитали «Котлован», «Ювенильное море» и «Чевенгур» Платонова или роман Гроссмана «Жизнь и судьба»? Не прочитав в свое время книги Платонова, Булгакова, Замятина, даже надолго задержавшиеся романы такого «благополучного» на первый взгляд писателя, как Вс. Иванов, и многое другое, мы не знали, как изобильно богата наша литература, традиционная и новаторская в одно и то же время. Проза Платонова — истинное ошеломление, праздник, но и тайна, нечто не дающееся запросто, с ходу. Перед ней и мастер в изумлении снимет шляпу. Да, время было жестоко к самым талантливым своим художникам, и потери наши велики. Тем сильнее должна быть наша радость от запоздавших открытий, приобретений. Тем основательнее надежда на литературную молодежь.

— Вы говорите, ситуация теперь в литературе иная. А ведь для широкого круга читателей наиболее известными остаются не самые сильные художники слова...

— Это так, но я не вижу поводов для особой тревоги. Популярность — не абсолютное мерило, к тому же она весьма подвижна и бывает недолговечна. Может случиться, что серьезное исследование читательских интересов, проведенное в конце этого года, покажет преобладающий интерес читателя, скажем, к тем же «Детям Арбата», к романам Дудинцева и Гроссмана. Когда литература представ-

ляет собой торжество усредненности, когда книги похожи одна на другую, вперед — статистически! — выходят книги (и авторы), выпускаемые чаще других. Мог ли, скажем, Юрий Трифонов, издававшийся так скупо до самого последнего времени, соревноваться в массовой популярности с теми, кого печатали непрерывно и миллионными тиражами в «Роман-газете» и нескольких издательствах одновременно, тут же инсценировали и экранизировали, кого хвалили за дело и без дела во всех газетах и награждали сверх всякой меры? «Наиболее читаемый» — это часто простое производное от «наиболее издаваемого», и как нечасто эти две категории совпадают так идеально, как они совпадали, например, в судьбе Михаила Шолохова! Есть и другое: та степень стилистической тонкости (а случается, сложности), особой иронической изобразительности, та сложная поэтичность прозы, которые задерживают быстрого, простое признание художника широким читателем. Разве не так обстоит дело с прозой талантливого, единственного в своем роде Фазиса Искандера, с книгами Андрея Битова, с повестями Анатолия Кима? Нужно терпеливо трудиться и ждать читателя, нужна честная атмосфера внутри литературы, и все в свое время станет на место. Тут наша общая забота: не отдавать такую литературу произволу случая, как это бывало в прежние годы, тем более не бросать таких писателей на «съедение» вульгарным критикам.

— В этом смысле театр и кино могут сослужить писателю добрую службу, принести известность, как это случилось с фильмом «Три тополя на Плющихе», снятому по вашему рассказу.

— По моим сценариям снято более десяти полнометражных фильмов, но только три из них принесли мне удовлетворение. Один фильм вы уже назвали, другой поставил эстонский режиссер Кальё Кийск («Ледоход») и еще один фильм — талантливый дебют рано умершего Евгения Карелова — «Третий тайм», история знаменитого футбольного матча в оккупированном гитлеровцами Киеве. Три относительные удачи из десяти — много это или мало? Кинематографисты говорят, что много, и я не стану спорить.

А начинал я в театре как театровед и театральный критик и даже драматург. Но события 1949 года, время бесчеловечного преследования так называемых «безродных космополитов», или, как еще любили выражаться развязные «разоблачители», «беспаспортных бродяг в человечестве», отвратили меня от театра, которому было отдано около двадцати лет жизни. В самую трудную пору среди деятелей театра оказалось немало честных и самоотверженных людей, старавшихся смягчить нашу участь и судьбу. Но и двоедушие, трусливой робости, холодности было с избытком. Если мне теперь по старой привычке случается написать пьесу, я прячу ее поглубже, подальше от глаз запретителей и всезнающих театральных начальников, ухитрившихся год за годом не пускать (и не пустить) на русскую сцену мою драму «Дамский портной».

— Я знаю о кампании, начатой по команде Сталина, кампании борьбы против так называемых «критиков-антипатриотов». Но какие именно ваши статьи или выступления вызвали гнев высокого начальства?

— Как завлит Центрального театра Красной Армии я посильно трудился над созданием современного репертуара. За два сезона театр показал семь премьер талантливых драматургов-дебютантов. Может, этим и заслужила моя персона гнев и немилость нескольких именитых драматургов, нетерпимых к любому критическому слову? Я не видел основания писать неправду о плохих пьесах, кривить душой и открыто, честно, публично критиковал те пьесы Корнейчука, Ромашова, Софронова или, скажем, Сурова (впоследствии выяснилось, что он пользовался наемным литературным трудом), которые пришлось по душе Сталину и были затем отмечены сталинскими премиями. «Награжденная» премией плохая пьеса, конечно, не становилась хорошей, зато открывались неограниченные возможности истязания тех, кто высказывал критическое суждение.

— Вас тогда исключили из партии? И не за одного?

— Было такое, хотя оснований на то, считая, не имело. В моем «деле» не оказалось и малой бумажки, хотя бы одного конкретного мотива для исключения — только печально известная статья «Правды» о театральном «критиках-антипатриотах». Ничего персонального, исследованного, доказанного. Однако и статья оказалась достаточно, чтобы лишить меня работы, заработка, партийного билета и выселить всю мою большую семью из квартиры на дворовый асфальт. «За что же вас исключили?» — искренне допытывался у меня партследователь, которому было поручено мое дело после XX съезда КПСС. Этого так и не удалось выяснить. А в партии меня восстановили.

— Это была, как мы сейчас говорим, первая волна оттепели. Ведь и московскую писательскую организацию создали после XX съезда, она — его детище.

— Верно. Вдохновленная решениями XX и XXII съездов партии, эта самая крупная в стране и не последняя по талантам писательская организация старалась жить и действовать в полном соответствии с выработанными ими демократическими ленинскими идеями. Тем самым и накликала на себя в начале 60-х гнев начальства, ощутила резкое сопротивление сил возрождавшегося сталинизма. Мы были наказаны прекращением издания многотиражной газеты «Московский литератор», запретом на альманах «Литературная Москва» и даже такой крутой, крайней мерой, как роспуск на несколько лет партийной организации. Думается, что москвичи, коммунисты и беспартийные, должны знать и эту невеселую хронику нашей литературной жизни.

— Ну, а сейчас ошутимы ли перемены к лучшему в Московской писательской организации?

— Что-то, разумеется, происходит, доказательством этому могут служить недавние выборы кандидата в делегаты на XIX партийную конференцию: обсуждение многих выдвинутых кандидатур, победившее по ходу дела двукратное голосование и, наконец, то, что собрание проводилось не закрытое — для решения столь важного вопроса собрались коммунисты и беспартийные. Вообще же, МО СП РСФСР — органическая часть всего большого Союза писателей, а на нем, на союзе, слишком много грехов.



И самый непростительный из них — хладнокровное перешагивание через поколения писателей, одно за другим, одно за другим. Когда в 1946 году по решению ЦК ВКП(б) была сформирована новая редколлегия журнала «Новый мир», никому и на ум не приходило считать молодым редактором К. Симонова или члена редколлегии А. Борщаговского, а было нам соответственно 31 и 33 года. Да и сами мы уже не считали себя молодыми — ведь позади опыт 30-х годов и опыт войны. А затем, как и во всей жизни, как и в формировании высших эшелонов власти, восторжествовал, я бы сказал, воинственный и самоуверенный «синдром дряхлости». Прочно укоренилось убеждение, что тридцатилетние и даже сорокалетние — молодцы-зеленые, не дозрели, дескать, до того, чтобы быть в правлении. С годами и их самих убедили в этом, двинули на обочину, а это смертный грех в области духа, в сфере искусства — грех особенный. Это выгодное жизненным «генералам» от литературы, защищенным от разжалования хитроумной, антидемократичной системой выборов, положение бытует и понине. Так «пробегав» в молодых до пятидесяти талантливый поэт, истинный гражданин и боец Евгений Евтушенко, который мог бы принести огромную пользу союзу как общественно-творческой организации. На него и сейчас поглядывают с опаской: молод, горяч, зелен!

— Я хочу вернуться к герою вашего романа «Портрет по памяти». Внутренней логикой самого своего существования в книге Агин как-то незримо и в то же время точно связан со многим из того, о чем мы сегодня говорим и печемся. Ведь вопросом вопроса остается — в сфере литературы ли, общественной жизни, в экономике — человек, его нравственный выбор, его духовная суть. Меня поразила степень душевной отзывчивости вашего героя, готовность на самопожертвование. Мы стали сегодня прагматичнее, жестче, расчетливее, скупее в проявлении чувств, ушла доброта...

— Ложь и двоедушие, общественную имеют в виду ложь, не могли не изменить людей. То же самое надо сказать и о жестокостях полувека, они непременно сказываются на самой цене человеческой жизни: в глазах многих она падала и падает, иногда падает до опасной отметки. Это — реальность, которую сегодня далеко не очевидно учитывает руководство страны, настойчиво обращая нас к человеку и его жизненным интересам. Истинным, а не декларативным интересам. Мне же всегда были единственно интересны личности, такие, каким был далекий Агин или дружески близкие мне Алексей Дмитриевич Попов, Константин Георгиевич Паустовский, Александр Яковлевна Бруштейн. Их много; этих прекрасных людей вокруг нас — среди ушедших и среди живых, деятельных, неутомимых. Одним аршином людей мерить нельзя, и бывает непросто постичь естество человека, но надо трудиться, стоит трудиться, вот труд, который поистине всегда окупится. Только слепой не увидит, как меняются люди в массе, именно в массе, как коллектив начинает ощущать себя коллективом, собранием независимых людей. В этом году у меня состоялись две большие встречи: с редакторами московских многотиражных газет в конференц-зале издательства «Московская правда» и в Старой Купавне — с ветеранами и молодежью завода «Акрихин». Я был просто поражен переменами, случившимися в людях, их жадному интересу к жизни общества, к политике, их открытости и прямоте. Какая раскованность, готовность расстаться с иными обольстительными иллюзиями, готовность спорить, но и спор вести на каком-то новом уровне, научаясь не слушаться, а слушать, вникать, думать самостоятельно. Вот этой готовности расстаться с вредными иллюзиями, с надеждами, что все возвратится на «круги своя», больше всего не хватает тем литераторам, которые хмуро косятся на публикации книг, отнятых у народа на десятилетия, мрачно бубнят о какой-то поразившей редакции журналов «некрофилии».

По своей природе человек не резкий, в последнее время я выхожу из себя, когда слышу даже от хорошего человека этакое ленивое, снисходительное: «Перестройка?.. Перемена жизни — надеюсь, это удастся.. получится...» Если только «надеюсь», если все будут только весьма благожелательно надеяться, то нет, не получится! Только действие, только убежденность и достоинство, только вмешательство всех и каждого могут стать гарантией успеха неизмеримо трудного дела. И всякий день жизни убеждает меня в этом, всякое собрание коллектива, сумевшего подняться до самого себя, до осознания своих прав и своей обязанности отстаивать демократию, свидетельствует о том, как неисчислимы наши духовные резервы. Я не верю в то, что силы бюрократии, так искусно сопротивляющиеся перестройке, выступят на XIX партийной конференции, так сказать, с открытым забралом, опортят ее направление и основополагающие идеи. Тем упорнее будет их сопротивление, тем упорнее процесс их внутреннего переустраивания, их стремление не дать раскозаться всем творческим силам миллионов людей. Хорошо бы со вздохом облыбления, с уверенностью, что все самое трудное осталось позади, — войти в третье тысячелетие! А десять лет положим, заранее пожелаю на трудную, упорную, каждодневную работу, по-бойцовски радуясь ей, как своей судьбе, тяжелой и счастливой.